

Леонид Чачко

Жизнь-Богем-видеи...



Леонид Маркович Чачко

Жили-были-видели...

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22606074
Жили-были-видели...:

Аннотация

«...В детстве мне довелось довольно много поездить: каждое лето, на каникулах, мы с мамой и младшим братом Аликом отправлялись «отдыхать»: сначала, когда отец еще служил в армии, это были Германия и Латвия, затем – местечко Ворзель под Киевом, где жила с семьей старшая сестра отца – гостеприимная тетя Маня. Самое увлекательное и завораживающее занятие в дороге было смотреть из окна вагона на проносящиеся мимо пейзажи и воображать себя оказавшимся внезапно в этих местах, в этом глухом лесу, на этом заброшенном полустанке...»

Содержание

I. Мое происхождение	6
Мое происхождение	6
Моя родная коммуналка	11
II. В Германии	24
От двух до шести	24
Германия	27
Щенок	32
Победители и побежденные	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Леонид Чачко

Жили-были-видели...

Оглянись на свою молодость – как она похорошела!

Из книжки афоризмов «Зуд мудрости» Михаила Туровского.

Я научился читать поздно, в семь лет, в последнее лето перед школой. Моей первой книжкой был букварь, второй – «Жизнь и замечательные приключения капитана Головнина» в пересказе Р. Фраермана. С тех пор и до теперешних седин моим любимым занятием было чтение, а любимым чтением – приключения. Фантазия преобладала над анализом. Отсюда и увлечение путешествиями – реальными и воображаемыми. В этом я похож на моего отца: в тридцатые годы он со своим приятелем – писателем и географом А. Севериным – путешествовал верхом и на лодке по Хакасии и Енисею. Позже, в пятидесятые, когда семья только стала выпутываться из невысказанных трудностей безработицы и неуверенности в будущем, отец увлеченно, в деталях, разрабатывал со мной проекты нашего с ним путешествия на лодке по рекам Черниговщины – по местам его детства.

В детстве мне довелось довольно много поездить: каждое лето, на каникулах, мы с мамой и младшим братом Аликом отправлялись «отдыхать»: сначала, когда отец еще служил в

армии, это были Германия и Латвия, затем – местечко Ворзель под Киевом, где жила с семьей старшая сестра отца – гостеприимная тетя Маня. Самое увлекательное и завораживающее занятие в дороге было смотреть из окна вагона на проносящиеся мимо пейзажи и воображать себя оказавшимся внезапно в этих местах, в этом глухом лесу, на этом заброшенном полустанке... Стремление к иной жизни? Любопытство?

Так или иначе, жизнь предоставила много случаев удовлетворить это свое любопытство – грех жаловаться! Естественно, возникла потребность поделиться своими впечатлениями с другими, может быть близкими по духу. Вот, делюсь...

I. Мое происхождение

Мое происхождение

Я москвич. Мои родители переехали в Москву с Украины, из Киева, в 30-х годах, в поисках доли и стремясь получить образование. По семейной легенде, фамилия моя – Чачко – происходит от клички «Цацкес» (игрушки на идиш). Кто-то из прадедов, видимо, делал игрушки. Другая версия, более правдоподобная, почерпнута мной из Интернета: фамилия была дана выходцам из села Чачки (Чашки) Белостокского уезда Виленской губернии...

Мать рано потеряла родителей, скиталась по богатым родственникам. Вступила в один из первых пионерских отрядов, организованных в стране, душой отдаваясь делу освобождения рабочего класса из пут буржуазии. Одно из ее воспоминаний детства – как повязывала красный галстук Григорию Котовскому, когда отряд принимал его в почетные пионеры (голая, как бильярдный шар, голова огромного страшноватого дядьки...). Рано вступила в комсомол, потом – в партию и всю жизнь оставалась верной ленинкой. Откровения XX съезда были восприняты ею как разоблачение антипартийных уклонений Сталина от правильной ленинской линии. Переехав в Москву вслед за любимым, она закончила

рабфак и поступила в Иняз, на монгольское отделение (Монголия считалась перспективным объектом для развертывания мировой революции).

Отец, работая слесарем на киевском заводе «Арсенал», также вступил в комсомол, а затем в партию, но всю жизнь относился к партийной пропаганде гораздо более спокойно, если не сказать скептически. Окончив рабфак, стал рабкором в заводской многотиражке, писал очерки, издал несколько книжек из рабочей жизни. Переехав в Москву, поступил в РИИН (редакционно-издательский институт, из которого позже образовался Литературный институт имени Горького). Удачно пройдя несколько чисток и избежав обвинений в связях с троцкистами, окончил институт и стал работать редактором в «Детиздате». Как военнообязанный, поехал летом 41-го года на военные сборы и прямо из лагерей (военных) ушел на войну, почему-то в должности командира взвода 45-миллиметровых орудий (надо сказать, будучи человеком высокой гуманитарной культуры и грамотности, отец был абсолютно неспособен ни к какой математике, да и командовать, по-моему, органически не мог). Ему повезло – он заболел тифом и с эшелона, направлявшегося на фронт, был снят в госпиталь, откуда, выздоровев, был направлен, уже по специальности, в дивизионную, а затем армейскую газету, где и прослужил корреспондентом до конца войны.



Отец, 1944 год. Портрет кисти фронтового художника Ф. Глебова

С работой отца в «Детиздате» у меня связано несколько впечатлений. Во-первых, у нас в семье было много прекрасных, замечательно изданных детских книг, составивших мой первый круг чтения. Во-вторых, были не только детские, но и «взрослые» книги – сигнальные экземпляры, не подвергшиеся еще окончательной цензуре, некоторые даже и вообще не вышедшие в свет. В этих книгах встречалось много страниц с частично тщательно зачеркнутым текстом, а иногда и с замаранными фотографиями. Только повзрослев, я узнал причину этих «чисток» – мама вымарывала фамилии и фотографии «врагов народа», «разоблаченных» за время подготовки книги к изданию. Когда в более поздние времена я позволил себе подхихикивать над этой паранойей, папа рассказал мне, как во время войны люди, прежде чем воспользоваться обрывком газеты в туалете, тщательно осматривали его, чтобы, не дай боже, не употребить бумажку с портретом кого-нибудь из вождей...

После войны отец некоторое время еще оставался на действительной службе в армии. Он мечтал вернуться к своей мирной профессии, к чему его призывали бывшие коллеги. Я читал письмо к нему главного редактора «Детиздата», очень комплиментарное и радушное, где говорилось, что редакторское кресло отца его ждет. Что ж, когда отец наконец демобилизовался, а выбрал он для этого 1952 год, это кресло, как и большинство других кресел, стульев и просто рабочих мест, оказалось для него закрыто (я знаю, он даже

пытался поступить на работу слесарем на завод, но из этого тоже ничего не вышло). Некоторое время мы жили на скудную зарплату матери, которой удалось устроиться (по знакомству) служащей в Общество охраны природы. Мы с братом были еще маленькие и ничего не замечали, но думаю, что порой родители просто голодали.

Потом помер наконец главный персонаж советской истории, власть стала понемногу отпускать вожжи, у отца появилась какая-то работа в редакциях, а потом он даже стал печататься. Я поступил в институт и (отчасти вынужденно) стал получать повышенную стипендию. Жизнь налаживалась.

Моя родная коммуналка

*Узнавай же скорее декабрьский денек, где к
зловещему дегтю примешан желток.*

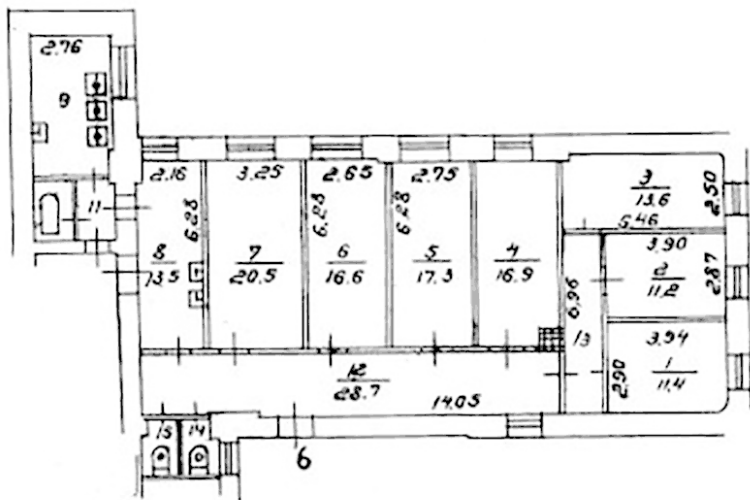
О. Мандельштам

Моя Москва – Москва моей юности – зимой пахла дымом котельных и МОГЭСа (топили тогда углем), но в то же время удивительной свежестью. Прилетая из Питера в Шереметьево или приезжая на Ленинградский вокзал, я сразу ощущал этот родной московский воздух. И уж совсем родным веяло, когда входил в свой подъезд, поднимался на третий этаж и входил в свою квартиру. Коммунальную квартиру, где я в детстве катался по коридору на трехколесном велосипеде, боялся ночью выходить в темный коридор и боялся заходить в туалет – а вдруг увижу на стене паука! Где в более зрелом возрасте, проведя от семейного счетчика электрический провод, образовал себе на подоконнике коридорного окна персональный кабинет, чтобы готовить уроки и читать книжки, пока мой брат играет на скрипке или папа стучит на машинке. Где семь соседских семей в течение многих лет составляли ту самую ячейку социалистического общества, о которой, наверное, грезили отцы-основоположники. (Помню, как, будучи во Франции, пытался объяснить любознательным иностранцам, что такое коммунальная квартира. «А, – сказал один, сообразительный, – это такая швед-

ская семья!») В моей квартире не было, как в квартире у моего друга Вити Чистякова на Покровке, шести выключателей и лампочек в туалете, не было, как у Бори Карпусенко в Брюсовском, на кухне кастрюль с приделанными висячими замками. У нас можно было стрельнуть у соседей денег до получки. У нас в основном царил дух коллективизма (что не исключает, разумеется, отдельных склок и интриг). Несомненно, объяснение этому феномену лежит в истории нашей квартиры № 6 дома 2/1 по Старосадскому переулку.

Согласно легенде, дом был построен перед войной 14 года и первоначально использовался как госпиталь. К началу исторического периода, т. е. к моменту вселения туда моих родителей (тогда они еще не были таковыми), в доме располагалось общежитие РИИНа (Редакционно-издательского института). Отец поступил в этот институт, будучи рабкором со стажем и после того, как безуспешно попытался приобрести серьезную и полезную профессию врача – анатомика и химия оказались ему не по силам (хотел сказать «не по зубам», но макабрическому юмору не место в нашей серьезном повествовании). Как я понимаю, тихой учебы не дал ему «век-волкодав»: в институте разоблачили группу троцкистов, и в 33-м году РИИН расформировали, гуманно дав, однако, доучиться в других вузах оставшимся в живых студентам (виновным только в недоносительстве). Учинившаяся кутерьма имела положительным результатом то, что студенты, поселившиеся в общежитии, под шумок так и оста-

лись в нем и остались надолго, некоторые – на всю жизнь. Так и образовалось в тихом центре Москвы это сообщество довольно близких по духу людей. Представление об этом месте дает описание «Общежития имени монаха Бертольда Шварца» в известном романе Ильфа и Петрова. По воспоминаниям родителей, авторы частенько бывали (а может, и живали) в этом доме. Бывали там и такие персонажи, как Матэ Залка, Юлиус Фучик, Назым Хикмет, Муса Джалиль. В этом доме, перед самой войной, посчастливилось родиться и мне. По этому случаю родители переселились из двухметрового помещения без окна, предназначенного архитектором под ванную, в прекрасную 16-метровую светлую комнату.



Случайно сохранился план нашей квартиры.

На плане помещения 1–7 – жилые комнаты, 11, 12 и 13 – коридоры, 8 – умывальная, 9 – кухня, 10 – ванная, 14 и 15 – туалеты.

Когда папа с войны привез мотоцикл, тот долго стоял в квартире, занимая один из двух туалетов, и никто из соседей не возражал. С войны из соседей-мужчин вернулись пятеро – в комнаты 7, 5, 4, 2 и 1. В комнату 6 мужчина не вернулся – осталась одинокая вдова. Но обо всем по порядку.

Наша комната – четвертая (один длинный звонок) – выходила окнами на соседний двор и в пространство. Когда на парадах над Красной площадью пролетали самолеты – они появлялись одновременно в нашем окне. Помню, в день Победы над Красной площадью на аэростате было поднято знамя – оно развевалось и перед нашим окном. Вдали из окна был виден ветряк, установленный на башне в ЦАГИ – Центральном аэро-гидродинамическом институте. Мне всегда хотелось там работать, и так получилось, что после окончания института я распределился в эту колыбель отечественной авиации.

Соседнюю комнату № 5 занимала семья Шпирт. Александр Шпирт – дядя Саша – бывший одессит, поэт, вернулся с войны в 46-м году, зарабатывал поэтическими переводами с различных языков народов Советского Союза (по подстрочнику), в основном всяких экзотических, вроде калмыц-

кого или ойротского. Поскольку у малых народов была особая квота на издание национальной литературы, дядя Саша сводил концы с концами. В свободное от творчества (думаю, таковое все-таки было) и от халтуры время дядя Саша писал нам с братом стихотворные посвящения («... в расцвете лет твоих – и дней моих на склоне...»). Мой брат тут недавно раскопал, что наши со Шпиртами комнаты образовались оттого, что наши отцы, обзаведясь семьями, разгородили одну большую комнату перегородкой. Из-за этого в нашем будущем (а как знать, может, и в прошлом) возникали проблемы со звукоизоляцией. Например, когда родители с братом переехали и оставили комнату мне и я «зажил личной жизнью», дядя Саша однажды, смущаясь, попросил меня перенести кровать к другой стене. После смерти четы Шпиртов (их сын Владик, физик, физтеховец из первого выпуска, участник семинаров Ландау, к этому времени имел свою семью и жил в другой квартире) комнату заняла странноватая, а впрочем, очень тихая и деликатная пара, которая не оставила о себе никаких воспоминаний, кроме некоторых юмористических подробностей.

Другая стена нашей комнаты примыкала к малому коридору, куда выходили двери трех комнат. В комнате № 1 жила бездетная пара. Муж вернулся с войны в чине капитана, работал в какой-то редакции и довольно скоро умер. Жена пошла работать учителем в девчачью школу № 327, преподавала девочкам рукоделие, дружила со своими ученица-

ми, и они часто заходили к ней в гости, заставляя мое юное сердце изнывать от любопытства. Потом и она умерла, а в комнату вселился какой-то нестарый и часто нетрезвый раздолбай, по-моему гэбэшник небольшого чина (я уже к тому времени вырос, вел свободный и общительный образ жизни и представлял, наверное, некий интерес для этой конторы). Потом этот персонаж исчез так же неожиданно, как и появился, и освободившуюся комнату присоединил к своей обитатель комнаты № 2 Шульман Моисей Израилевич, приятель наших родителей. О нем хочу рассказать подробнее.

Моисей Израилевич, или дядя Миша, пройдя войну, кажется в чине сержанта, пошел работать по редакционно-издательской части. Он учился, как и наш отец и дядя Саша, в РИИНе, но до этого окончил Киевскую консерваторию по классу скрипки, что дало ему определенные преимущества в плане трудоустройства в эпоху, когда «лиц еврейской национальности» (или, как говаривала наша мама, *ex nostris*) не жаловали на идеологических участках работы, к каковым, безусловно, относились журналистика, литература и преподавание. Году в 53-м его выперли из какого-то издательства, и он устроился в музыкальную школу педагогом по скрипке, а также брал учеников. На всю квартиру раздавались его дикие крики, с которыми он поправлял ученика, взявшего неточную ноту (при том, что, имея абсолютный слух, он не мог интонировать голосом и, пытаясь напеть мотив, врал безбожно). Когда времена сменились более вегетарианскими

(по выражению Ахматовой), дядя Миша стал ездить от филармонии с музыковедческими лекциями, заключил договор с издательством на книгу «Лев Толстой и музыка», каковую, кажется, даже издал в конце жизни. Дядя Миша прожил всю жизнь холостяком, был красив и очень неравнодушен к женской красоте, но его явно привлекали самые ее простые разновидности, и наши родители никогда не отказывали себе в удовольствии перемыть косточки его очередной пассии – официанточке или продавщице. Будучи в весьма почтенном возрасте и пережив парочку инфарктов, он сиживал, бывало, на Чистопрудном бульваре и благосклонно оглядывал порхающих мимо девиц. Когда в 81-м году я, женившись, путем сложного обмена переехал из своей комнаты, дядя Миша остался в квартире единственным из славной рииновской когорты и единственным, с кем мне жалко было расставаться...

Следующую комнату – № 3 – занимала семья Маринбах. Папа – маленький, юркий, энергичный, внешне похожий на поэта Льва Рубинштейна, работал где-то по снабжению и был вечно занят какими-то гешефтами, мама – крупная, величественная дама, занималась домашним хозяйством и готовила немислимые еврейские кушанья. Для моей мамы она была непререкаемым кулинарным авторитетом, множество рецептов от Сарры Иосифовны перекочевали в мамину записную книжку. Двое сыновей Маринбахов унаследовали от матери богатырскую статью и (видимо, от обоих родите-

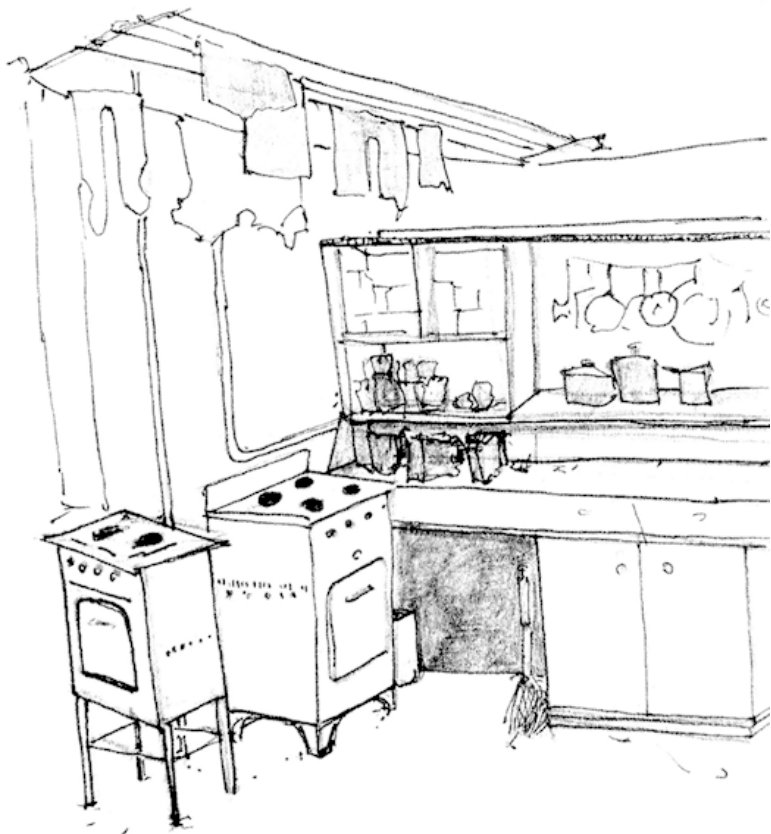
лей) хорошую еврейскую голову. Старший – Ефим Борисович – окончил медицинский и делал блестящую академическую карьеру, но ему не повезло – его научным руководителем был профессор Вовси. Когда разгорелось «дело врачей», Ефим Борисович оказался в местах не столь отдаленных, но на воле и некоторое время жил и работал на Дальнем Востоке. После реабилитации он вернулся в Москву и со временем стал одним из крупнейших наших урологов. Младший – Александр Борисович – кончил мехмат и неоднократно пытался преподать мне красоты астрономии, в чем не преуспел.

В комнате № 6 обитала (первоначально) одинокая женщина, муж которой (он, видимо, был из рииновского набора) погиб на войне. Она была высокая, с очень правильными чертами лица, ходила и говорила тихо и, по-видимому, нас всех ненавидела. Истоков этого отношения я не знаю, но могу предположить как зависть к выжившим мужьям, так и национальный элемент. Мама называла ее «малахамувэс» (ангел смерти на иврите), а я ее очень боялся. После смерти «малахамувэски» ее комнату заняла, по иронии судьбы, веселая рыжая, слегка распутная еврейка, которая работала в троллейбусном парке и заводила кратковременные романы с пьющими слесарями. Один из них задержался дольше других благодаря добродушному характеру и упрямству – когда Рыжая запирала дверь, он взбирался по стене на третий этаж и, влезши к ней в окно, все-таки добивался своего. Однажды, возвращаясь поздно ночью домой, я наткнулся на него,

свернувшеюся калачиком на полу у двери в квартиру. Будучи разбужен, он смиренно попросил его не бить. Разумеется, был допущен внутрь, в коридор, а утром добродушная Рыжая уже отпаивала его чаем.

Наконец, комнату № 7, самую большую, первоначально занимала семья Гречко – бывшего коменданта общежития РИИНа. Их сын после возвращения с войны стал кадровым военным, окончил академию и забрал родителей к себе. Освободившуюся комнату занял ветеран ГПУ, бывший латышский стрелок, бывший оперуполномоченный по Читинской области Рипп. Нередко его зычный голос грозил мне всяческими карами за «антиобщественное» поведение, когда мои хипповатые друзья попадались ему по квартире. «Я таких к стенке ставил!» – гремел он и, наверное, и вправду ставил, но, за исключением мелких пакостей, особого зла я от него не имел.

После Риппа в комнату вселился здоровый веселый парень – бывший деревенский милиционер, а потом пожарник, с женой и ребенком, каковой (жене) от него иногда (но не слишком часто) доставалось, и тогда она гордо, как знак отличия, носила фонарь под глазом. К моменту моего отъезда из квартиры пожарник добился своей жизненной цели: получил квартиру, замирился с женой, клятвенно обещав ей не пить и не бить, и съехал.



Уголок родной коммунальной кухни

В детстве жизнь моя, как и у большинства московских детей, в немалой мере происходила на дворе. Двор, закрытый и разветвленный московский двор со всякими проходами и

лазейками в соседние дворы, со шпаной, со сложными отношениями с обитателями окрестных дворов, являлся задним двором большого продовольственного магазина – «Стеклянного гастронома на Покровке». В голодные послевоенные годы в этом дворе время от времени «давали» с лотка муку и другой дефицит, обычно строго ограничивая количество выдаваемого в одни руки продукта. Вырастала громадная очередь, люди записывали номера на бумажках и на ладошках, и вот тут-то у нас, местной ребятни, появлялась возможность подзаработать на кино и мороженое – мы подставляли свои ладошки желающим... Во дворе играли в казаки-разбойники, в расшибалку, в чурки-палки. Активная деятельность велась на чердаках и крышах – там орудовали голубятники. Диких голубей в Москве не было, зато почти в каждом дворе имелась своя голубятня, и стаи домашних породистых голубей вились над крышами, по которым бегал стар и млад, размахивая палками с тряпками. Сверхзадачей голубятников было сманить чужого голубя, чтобы потом продать или обменять его на Птичьем рынке. Занятие это было небезопасное – однажды парень свалился с нашей крыши и разбился. В моем дворе болели за «Спартак». Я, движимый здоровым чувством индивидуализма и ничего не понимая в футболе, объявил себя болельщиком «Динамо» (ведь нельзя же было не болеть ни за кого!). После этого на меня стали коситься, и лишь значительно позже я понял причину: ведь «Динамо» была команда МВД...

Иногда во двор доносилась громкая духовая музыка, и мы бежали на Покровку – там шагали строем под звуки марша солдаты из Покровских казарм, направляясь на развод караулов в здание КГБ. Малыши пристраивались сзади колонны и провожали воинскую часть до Лубянки. По временам, уже без музыки, по улице проходили под охраной колонны плохо одетых людей. Нам объясняли, что это пленных немцев ведут на восстановление здания КГБ, разрушенного в 41-м году прямым попаданием однотонной бомбы. Позже, прочитав Солженицына, я понял, что, скорее всего, это были никакие не немцы, а наши заключенные. Общаться с ними не было никакой возможности – охрана была строга.

До своей 661-й школы я добирался по Покровке (позже – улице Чернышевского) за десять минут, а если бегом, то за пять. Но для этого надо было бежать проходным двором и мимо вражеской школы № 324, а тут можно было нарваться и на неприятности. Хотя неприятности могли восследовать и во дворе собственной школы – там в бараке жила многодетная семья татар, и татарские дети не очень жаловали чистеньких московских мальчиков. Вообще, проходных дворов в Москве было великое множество, и добраться по ним можно было куда угодно. Когда хоронили Сталина, самые ловкие из нас доходили через дворы и крыши до самого Колонного зала. Потом милиция стала бороться с этим явлением и заколачивать неформальные проходы.

Этот район сильно изменился в шестидесятые годы, в эпо-

ху массового жилищного строительства. Большая часть народа переселилась в различные Черемушки. В нашем Колпачном переулке из трех школ осталось сначала две, а потом одна. Расселялись коммуналки. Мои родители наконец получили отдельную квартиру (купили кооператив), а я – нашу комнату. Вместе со мной эту комнату получили мои многочисленные (очень многочисленные) друзья – московские, питерские, одесские. Но это уже был другой век и другая жизнь.

II. В Германии

*В Германии, в Германии, проклятой стороне...
Из песни послевоенных времен*

От двух до шести

Лев Николаевич Толстой где-то сказал, что помнит, как его крестили. Тристрам Шенди вроде бы помнил момент своего зачатия. Мои первые воспоминания относятся к периоду, когда мне было два года.

Шел 42-й год. Мы с мамой жили в семье дедушки в Кузнецке, куда эвакуировался киевский завод «Арсенал». Дедушка и его дочери – мои тетки – работали на «Арсенале», были вывезены с семьями в Кузнецк осенью 41-го года и таким образом избежали Бабьего Яра. Мама со мной отдыхала летом того года под Киевом, в Пуще Водице, а папа проходил военные сборы. Поэтому с началом войны мы с мамой прибились к многочисленной семье дедушки, а папа «пошел на войну».

Я помню большую комнату, разгороженную тряпичными занавесками на отдельные клетушки, в которых располагались дедушка с бабушкой, тетя Маня с сыном, тетя Феня с дочкой, тетя Хана с дочкой и мы с мамой. Мужчины воевали.

Мне было весело и интересно. Помню, как я разгуливал по двору с деревянным ружьем, которое мне сделал в модельном цехе дедушка, и объяснял интересующимся, что мой папа «бьет фашистов».

Следующее мое воспоминание относится уже к Средней Азии, к 43-му году. Московский иняз, в котором училась мама, был эвакуирован в Фергану, где я пошел в детский сад, а мама, вместе с остальными студентками, по мере сил помогала дехканам выращивать разные полезные растения. Кормили нас там, по-видимому, исключительно плохо, потому что, когда мы с мамой наконец в 44-м году возвращались в Москву, я был в состоянии сильной дистрофии. Из среднеазиатских впечатлений в памяти сохранилась лишь картина, как я стою у колодца и горько плачу, потому что в этот бездонный колодец упала моя прекрасная тибетейка.

В Москве меня, благодаря отцовским литературным связям, устроили в литфондовый детский сад. Сад располагался в Переделкине, на даче Веры Инбер. Мы с мамой выходили из дома часов в шесть утра, мама брала меня на закорки (у меня из-за дистрофии развилась куриная слепота, и я по утрам плохо видел), мы садились в метро и ехали до Киевского вокзала, где меня забирал автобус, а мама бежала на работу. В детском саду меня лечили от дистрофии разными дефицитными продуктами: цветной капустой, гречкой, рыбьим жиром и витаминами. По-видимому, это помогло, потому что вскоре я избавился от своей куриной слепоты,

но надолго приобрел неприязнь к упомянутым продуктам. Кстати, с нашими с мамой поездками в метро связано одно воспоминание, которое долго воспринималось мною как дежавю: одна станция, где мы делали пересадку, по архитектуре сильно отличалась от остальных. После войны, став взрослее и разъезжая в метро, этой станции я нигде не встречал. И лишь в шестидесятые годы, когда построили новую Филевскую линию и на этой линии вновь открылась станция «Библиотека Ленина» (теперь это «Александровский Сад»), я узнал загадочную станцию своего детства.

Из событий того времени помню салюты, которые часто давались в честь освобождения разных городов, и особенно салют в честь Победы. Перед нашим окном в ночном небе плыл большой аэростат заграждения, под которым развевалось огромное знамя, подсвеченное прожекторами. Мы с мамой вышли гулять на Красную площадь, заполненную ликующим народом. Военных хватали и подбрасывали в воздух. Мне было радостно. Скоро должен был приехать мой легендарный папа.

Примерно с этого времени мои воспоминания стали непрерывными – я помню все подряд, что-то более подробно, а какие-то моменты из памяти ускользают, причем некоторые давно прошедшие события вспоминаются ярче, чем недавние.

Германия

После окончания войны отец остался служить в оккупационных войсках. В звании майора он работал в армейской газете в Веймаре. В декабре 45-го года мама получила разрешение выехать к отцу в Германию. Мы летели в Берлин на десантном «дугласе» с дюралевыми скамьями вдоль фюзеляжа. Летчики завели меня в пилотскую кабину, закармливали шоколадом, давали подержаться за штурвал. Помню приборную панель с массой циферблатов...

Самолет сделал промежуточную посадку в Кёнигсберге, и я увидел ровное поле до горизонта, покрытое слоем битого щебня. Еще полгода назад здесь шли тяжелые бои. Следующая посадка была в Берлине, на аэродроме Темпельхоф. Из-за какой-то путаницы папа встречал нас на другом аэродроме, и приключилась изрядная паника, но в конце концов мы нашли и встретились, к радости всех действующих лиц, в том числе и к явному облегчению коменданта аэродрома. По рассказу мамы, я не сразу привык к тому, что этот большой дядя в шинели, с колючими щеками – мой папа, но я этого не помню. Мы погрузились в «виллис» с автоматчиком (было еще небезопасно – кое-где постреливали) и через ночной раздолбанный Берлин, где отчетливо пахло гарью и в лучах фар мелькали силуэты разрушенных домов, по великолепным дорогам Германии помчались в город Веймар.

Первые несколько дней, пока решался квартирный вопрос, я прожил у соседей, немцев. Как я с ними общался – не знаю, наверное жестами. Соседка, немка была женщина добрая, она потом долго еще помогала матери по хозяйству, пока мама, со свойственными ей решительностью и демократизмом, не ликвидировала институт домработниц. Наконец мы получили в свое распоряжение уютный двухэтажный особняк, с деревьями во дворе и стеной, заросшей диким виноградом. Долгое время мы оставались в числе немногих советских семей в гарнизоне, и мама держала открытый дом для офицеров – товарищей отца. Приходили на огонек, вечерами, заходили пообедать в выходной день. Помню, как готовились к первому празднованию Нового года – клеили по выкройкам из «Огонька» самодельные елочные игрушки (я лично склеил цепь из цветной бумаги, потом эта цепь еще долго служила нам елочным украшением). На новогоднюю елку собралось за столом человек двадцать.

Еще собиралась компания из нескольких человек у приемника, старались со слуха записать новые песни. Помню, как была записана песня: «... Давно мы дома не были – шумит родная ель, как будто в сказке-небыли, за тридевять земель...» И еще: «...зачем им зорьки ранние, коль парни на войне, в Германии, в Германии – проклятой стороне...» У некоторых на глазах блестели слезы.

Первый год у меня почти не было русских приятелей – моего возраста были только жившие по соседству мальчик –

сын старшины и девочка – дочка генерала. Поэтому в нашей компании преобладали немецкие дети. Я очень быстро научился говорить по-немецки, говорил свободно и нередко помогал родителям в качестве переводчика (правда, папа мог обходиться и без моей помощи – он говорил с немцами на идиш, и они его понимали). Играли мы с немецкими детьми вполне мирно, я не помню ни одного случая межнациональной розни. Папа частенько выкатывал свой мощный мотоцикл с коляской, сажал нас, человек пять, вповалку и вез кататься за город. Потом немцев из нашего района выселили, образовался советский военный городок, ко многим военным приехали семьи, появилась у меня русская компания, и я постепенно стал немецкий язык забывать. Сейчас я, к сожалению, совершенно его не помню, и лишь иногда, откуда-то из подсознания, вдруг выскакивают немецкие слова и целые выражения.



Папа на своем DKW с моей компанией немецких и рус-

ских детей.

Щенок

Мы жили в Веймаре. Отец служил в армейской газете, мать ждала ребенка. У меня было мало друзей, и мне было скучновато. Папа решил меня порадовать. На Новый год он подарил мне маленького щенка. Разумеется, щенок должен был вырасти в великолепную немецкую овчарку – отец специально поехал в питомник и заплатил за щенка немалые деньги.

Ни о каком домашнем содержании щенка не могло быть и речи – родители были почему-то уверены, что собака должна знать свое место, а именно во дворе. Щенку соорудили во дворе будку, и я стал его воспитывать. По части воспитания щенков я имел ясные представления – в конце нашего переулка жил капитан, у которого был громадный сенбернар. Этот сенбернар делал все: он по команде носил поноску, ла-ял и даже, подпрыгнув вверх метра на два, вцеплялся зубами и повисал на ветке и висел на ней, сколько хотелось хозяину. Понимая, что таких результатов достичь сразу не получится, я все же старательно занимался дрессировкой. Кроме того, я выносил щенка на улицу, и мы – ребята – с ним играли.

Постепенно щенок подрос. У него почему-то уши не торчали вверх, а висели лопушками, а хвост завивался колечком, но он был очень мил и охотно с нами играл. Мои друзья очень мне завидовали. Однажды утром, выйдя во двор,

я обнаружил, что щенка украли – ошейник на цепочке был расстегнут, а щенка не было. Горе мое было велико. Через некоторое время выяснилось, что щенок обитает в соседнем доме, у моей подружки – дочери генерала. Сдавшись на мои уговоры, мама пошла к соседям и вытребовала щенка обратно. Снова началась счастливая жизнь. Но вскоре похищение повторилось. Теперь уже не составило труда определить похитителя. Мама весьма неохотно подчинилась моим требованиям и пошла за щенком. Так повторялось несколько раз. Щенка похищал ординарец генерала по просьбе генеральши. Наконец было достигнуто соглашение, что щенок будет проводить какое-то время у меня, а какое-то – у соседки. Ситуация осложнялась лишь тем, что у меня он звался Барсик, а у генеральши – Рекс.

Однажды мы с соседкой играли с щенком на улице и в очередной раз затеяли разборку, у кого ему жить на этот раз. Щенку это явно надоело. Он посмотрел на нас, спорящих, повернулся и потрусил вдоль по улице. Я стал звать Барсика, соседка – Рекса, мы пытались его догнать, но он все прибавлял ходу и вскоре исчез за поворотом. Больше я его не видел. Так я впервые в жизни столкнулся с предательством.

Победители и побежденные

Моя детская компания вела жизнь казацкой вольницы – у каждого был велосипед, и мы раскатывали по всей округе. А округа, надо сказать, была замечательная. Наш военный городок располагался на зеленой окраине Веймара. В паре кварталов от нас находился живописный Гете-парк с вековыми деревьями, ручьем, весело пробиравшимся между замшелых валунов, со старой мельницей. Мы играли в парке, носились по аллеям на велосипедах, пускали в ручье кораблики. Другой важный аспект нашей детской жизни составляли игры в войну. Мы все были дети войны, все были «советскими солдатами», и никто не хотел быть «немцем», приходилось как-то выкручиваться, находить сложные сюжетные ходы. Другой особенностью наших игр было наличие настоящего оружия. Хотя в Веймаре не велось активных боев, оружия той или иной степени исправности у нас хватало. Помимо ржавых погнутых винтовок и штыков, мы находили порой и исправное оружие. Так, мама у меня раз отобрала вполне работоспособный эсэсовский кинжал, а боевой пистолет, правда без патронов, я с выгодой обменял на десять перышек «рондо». Кроме того, у многих из нас имелись духовые ружья. С таким ружьем был связан один трагикомический эпизод.

В нашей компании у меня был «командир» – мальчик лет

десяти. Однажды вечером он вызвал меня из дома условным свистом. Он был с духовушкой и объяснил, что мы отправляемся на боевую операцию. Мы залегли на улице за живой изгородью и стали ждать «противника». Вскоре на противоположном тротуаре показалась женщина с хозяйственной сумкой, явная немка. Приятель приложился к ружью, выстрелил и точно угодил жертве пулькой в нижнюю часть спины. Вслед за звуком выстрела раздался дикий крик, от дома напротив – жилища генерала – выскочил часовой и дал очередь (видимо, в воздух), но мы уже убежали. К расследованию эпизода подключился политотдел армии, моего приятеля быстро нашли (за ним уже числились и другие подвиги) и вскоре отправили домой, в Россию. Меня тоже как-то нашли, и отец меня первый и единственный раз выпорол ремнем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.